

Алексей Парди́ков

КОЛЛЕКЦИЯ РАННИХ СТИХОТВОРЕНИЙ

х х х

Распята, рельефная, в шагу расклишенная корова,
разъятая на 12 частей,
Тебя купает формалин — мычащая амброзия,
от вымени к зобу не пятится масляный шар.

Словно апостолы, части Твои, корова,
разбрелись, продолжая свой рост,
легким правым и левым Киев основан,
выдохнув Лавру и сварной мост.
Троим взглядом последним Рим заколдован —
кукушки муляж,
каждый Твой позвонок, корова,
прозрачной пагоды этаж.

х х х

СТЕПЬ

I

Пряжкой хмельной стрельнет Волноваха,
плеснет жестянкой из-под колес, —
степь молодая встанет из праха,
в лапах Медведицы мельница роз,
дорога трясет, как сухая фляга,
когда над собой ты ее занес.

Стрижет красноперая степь и крутит,
меж углем и кровью и мы кружим,
черна и красна в единой минуте,
вышвыривая лохмотья из-за ширм,
она обливается, как поршень в мазуте
или падающий глазурный кувшин.

Привязав себя к жерлам турецких пушек,
степь отряхивается от вериг,
взвешивает курганы и обрушивает,
впотьмах выкорчевывает язык,
и петлю затягивает потуже,
по которой движется грузовик.

Все злее мы гнали, пока из прошлого
такая картина нас нагнала:
клином в зенит уходили лошади,
для поцелуя вытягивая тела,
как оборачивается простынью
скатерть, сдернутая с угла.

Это влечет в круговерть из пыли
и мельницу роз ломает шутя,
и степь ворочается, как пчела без крыльев,
бежит — пчелой укушенное дитя!

II

В этот час простыня твоя из фольги.
Голубь, фиолетовый как чесночная головка,
над ложем твоим сушит круги,
путает жилы снотворной веревкой.

Тьма накрывает промышленную округу.
Звонят — кто-то кому-то деньги отдает,
шепчутся — уговаривают нервную подругу.
Топоры сосут из колод пот.

Как обрывок магнитной ленты хрустящей,
на мусорной свалке рыба плывет,
ей в ответ шевелятся позвонки спящей —
33 глотка допотопных вод.

А ты прислушиваешься, мученица,
дни загадываешь наперед,
ждешь любовника как домушника;
ни тот ни другой нейдет.

Твои руки красивы, а бедраши твои некрасивы,
и это тебе прощает степь
с видом соперницы молчаливой,
небо занявшая на треть.

БЕССМЕРТНИК

У них рассержены затылки.
Бессмертник — соска всякой веры.
Их два передо мной. Затычки
дна атмосферы.

Подкрашен венчик — он пунцовый.
И сразу выправленная точность
середки в церемонный доколь
вменяет зрителя дотошность.

Что — самолетик за окошком
в неровностях стекла рывками
бессмертник огибая — сошка,
ключок ума за облаками!

Цветок: не цепок, не занозист,
как будто в ледяном орехе
рулетку, распыляя, носит
ничто без никакой помехи.

Но: с кнопок обрывая карты,
которые чертил Коперник,
и в них завертывая Тартар,
себя копирует бессмертник.

Он явственен над гробом грубо.
В нем смерть заклинила, как дверца.
Двухспинный. Короткодвугубый.
Стерня судеб. Рассада сердца.

СЦЕНА ИЗ СПЕКТАКЛЯ

Когда, бальзамируясь гримом, ты полуодетая
думаешь, как взорвать этот театр подпольный,
общие подошвы и общий источник света
у отраженья и тени, скрещенных прямоугольно.

Плащ надеваешь военный — чтобы тебя не узнали —
палевый, с капюшоном, а нужно — обычный, черный;
скользнет стеклянной глыбой удивление в зале:
нету тебя на сцене — это ж всего запрещенней!

Но ты выкидаешь — слышен гул сквозь хвощи заморозки,
потом ты встаешь с повозки, зная: твоя отвага
для подростков снотворна, потому что нега —
первая бесконечность, как запах земли в причесе.

Актеры движутся дальше, будто твоя причуда —
не от мира еего, так и должно быть в пьесе!
Твой голос целует с последних кресел пьянчуга,
отталкиваясь, взлетая, сыплясь, как снег на рульсы...

х х х

В домах для престарелых, широких и проточных,
где вина труднодоступна, зато небытия — как бодяги,
чифир вынимает горло и на ста цепочках
подвешивает, а сердце заворачивает в бумагу.

Пусть грунт вырезает у меня под подошвами
мрачащая евстахиевы трубы невесомость,
пусть заворачивает меня лицом к прошлому,
а горбом к будущему современная бездомность.

Карамельная бабочка мимо номерной койки
ползет 67 минут от распятия к иконе,
за окном пышный котлован райской пристройки;
им бы впору подумать о взаимной погоне.

Пока летишь на нежных чайных охапках,
видишь, как предметы терпят крах,
уничтожаясь, словно шайки в схватках,
и — среди пропастей и взвесей дыбится рак.

Тоннели рачи проворней, чем бензин на Солнце,
и не наблюдаемы. А в голове рака
есть все, что за ее пределами. Порциями
человека он входит в человека.

И драться не переучива^ется, отвечая на наркоз
наркозом. Лепетковой аркой
расставляет хвост. Сколько лепета, угроз!
Как был я лютым подростком, кривлякой!

Старик ходит к старику за чаем в гости,
в комковатой слепоте такое старание,
собраны следы любимой, как фасоль в горстку,
где-то валяется счетчик молчания, дудка визжания!

Рвут кверху твердь простые щипцы и костелы,
и я пытался чудом, даже молвой,
но вызвал банный смех и детские укалы.
Нас размешивает телевизор, как песок со смолой.

ПЕТР

Скажу, что между камнем и водой
червяк есть промежуток жути. Кроме —
червяк — отрезок времени и крови.
Не тонет нож, как тонет голос мой.

А внешний воздух скроен без гвоздя,
и пыль скрутив в горящие девятки,
как честь чужую бросит на лопатки,
прицельным духом своды обведя.

Мария! пятен нету на тебе.
Меня ж давно литая студит ересь,
и я на крест дареный не надеюсь,
а вознесусь, как копоть по трубе.

Крик петушинный виснет, как серьга
тяжелая, внезапная. Играют
костры на грубых лирах. Замолкают
кружки старух и воинов стога.

Что обсуждали пять минут назад,
зачем случайной медью похвалялись,
зачем в мгновенье черных обращений,
и вверх чающим зеркалом летят?

ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЕ В КОФЕЙНЕ

Он глотал пружину в кофейной чашке,
серебро открывший тихоня,
он наследует глазом две булки-пешки
от замарашки в заварном балахоне,

джаз-банд, как отпрянув от головешки,
пятится в нишу на задних лапах,
танцующие в ртурных рубахах,
верхотура сжимается без поддержки.

Тогда Бухарест отличил по крови
от наклона наклон ■■■ и все по порядку,
человек ощутил свои пятки вровень
с купольным крестиком, а лопатки —
как в пыльном кресле, и в этой позе,
в пустотах ежидных или елейных,
вращеньем стола на ответной фазе
он возвращен шаровой кофейне.

Самоубийца, заслушавшийся кукушку,
имел бы время вчитаться в святцы,
отхлебывать в такт, наконец проспаться,
так нет же! — выдергивает подушку
нательная бездна, сменив рельефы,
а тому, кто идет по дороге, грезя,
под ноги садит внезапно древо,
пусть ищет возврата в густой завесе!

1971

Ты — прилежный лятел, пружинка, скула,
или тот, что справа — буравчик, шкода,
или эта — в центре — глотнуть не дура,
осеяются: кончен концерт и школа:
чемпион, подтягивающийся как ледник,
студень, штанги, красный воротник шеренги.

Удлинялась ртуть, и катался дым,
и рефлексор во сне завился рожком,
сейфы всухли и вывернулись песком,
на котором, ругаясь, мы загорим,
в луна-парках черных и тирах сладких
умываясь в молочных своих догадках.

В глухоте, кормящей кристаллы, как
на реках вавилонских наследный сброд,
мы считали затмения скрещенных яхт,
под патрульной фарой сцепляя рот,
и внушали телам города и дебри —
нас хватали обломки, держались, крепили.

Ты в рулонах, в мостах, а пята — снегирь,
но не тот, что кладбища розовит,
кости таза, ребер, висков, ноги
в тьме замесят цирки и алфавит,
чтоб слизняк прозрел и ослеп, устыдясь,
пейте, партнеры, за эту обратную связь!

Как зеркальная бабочка между шпаг,
воспроизводится наша речь,
но самим нам противен спортивный шаг,
фехтовальные маски, токарность плеч,
под колпаком блаженства дрожит модель,
валясь на разобранную постель.

ПРОРОК I

Луженый волчонок, в ночной кантовке
ты ищешь выход калибру и метке,
пустыня-крючок и бар-мышеловка —
тряси и пинай их — не померкнут.
контур за контур сцеплены вспышки
во всю дуговую твоей размашки!

На бегу прихвачен своим подножьем
и отгорожен пазухами от наития,
твой памятник знает: распад надежной
свинцовых и платиновых покрытий,
статуй на фекалиях и сметане,
памятник — это чужие сани.

Но есть за тобой еще едкий навык —
то, что блокирует ростом смысла
два наших движения — рукой правой
материал калечим, а левый стиснув,

чеканит щит для ахейских хитрюг
витиеватей кишечных муи.

Подвох защищал бы тебя, но кисли
зрители, выучив назубок
чуждые штуки, когда, повиснув,
с кольцом в позвонке ты давал виток
над нами — чик-чик холодинкой перла —
все равно — стыд, полумера.

А когда красная простыня утопилась,
виясь и кусал свои края,
и грянули рыбы в ялубь, как перила,
а ты — ладонями горя,
в свадебном споре, в толченом пуху
неб заплечность ощутил наверху.

Чего ты не помнишь? Где твоя свита?
Ты удалился от чепухи.
Сброс ~~шиши~~ траекторий. Выжимки света.
Личинки размеров. Часов черенки.
Здесь к смерти своей ты приурочишь
кого захочешь, кого увидишь.

СТАДИОН

Стадион, как черная галера,
он един со взмахами толпы,
но, когда пуста его арена,
он слабей яичной скорлупы.

Ужасаясь посвиста судейского
и его оставив позади,
финишную ленту, как летеискую
ощущает лидер на груди.
Все шире и шире пейзаж этот зимний,
на темном пути, на пути беговом
капканы закопаны в снег боязливый
мимоз или крабов. Ни звука кругом.

И было напрасно тогда дотянуться
хотя бы до тени твоей, и она
горящей бумагой спешила свернуться
и яблочный цвет подымался со дня.

х х х

В.Д.

Темна причина, но прозрачна
бутыл пустая и петля,
и, как на скатерти змея,
весть замкнута и однозначна.

А на столе, где зло сошлось,
среди зависти клетушной,
как будто тазовая кость,
качалось море вкривь и вкось
светло и простудушно.

Цвел папоротник, и в ночи
купальской, душной, влажной
под дверью шарили рвачи,
а ты вертел в руках ключи
от скважины бумажной.

От черных греческих чернил
до пестрых перьев Рима,
от черных пушкинских чернил
до наших анонимных

метало море на рога
под грубый голос мидий
слогов повторных жемчуга
в преображенном виде.

То ли гармошкой губной
над берегом летало,
то ли как ужас — сам не свой —
в глуши реакции цепной
себя распространяло.

Безли моисеевых страстей
стремглав твердеют воды:
они застыли мощью всей,
как в сизом гипсе скоростей
беспамятство свободы.

Твой лик, условный как бамбук,
как перестук, задаром
был выплеснут на старый круг
испуга, сна, и пахло вдруг
сожженной гитарой.

И ты лежал на берегу
воды и леса мимо.
И море шепчет "ни гу-гу"
И небо — обратимо.

ЭЛЕГИЯ

О, как чистокровен под утро гранитный карьер,
в тот час, когда я вдоль реки совергаю прогулки,
когда после игрищ ночных вылезают наверх
из трудного омута жаб расписные шкатулки.

И гроздьями брошек прекрасных набиты битком
их вечнозеленые нервные склизкие шкуры.
Какие шедевры дрожали под их языком?
Наверное, к ним за советом ходили авгуры.

Их яблوك зеркальных пугает трескучий разлом
и ядерной кажется всплеска цветная корона,
но любят, когда колосится вода за веслом
и сохнет кустарник в сливовом зловонье затона.

В девичестве — вяжут, в замужестве — ходят с икрой,
вдруг насмерть сразятся, и снова уляжется шорох.
А то, как у Данта, во льду замерзают зимой,
а то, как у Чехова, ночь проведут в разговорах.

Ни эту глиняную статью,
 ни свежесть звездного помола —
 ни дать ни взять — не передать
 без слепоты и произвола.

И мне волшебных черепах
 напоминала стенная утварь;
 каленый свет вбирая внутрь,
 керамика шипит в шелках.

Ах, как расплющили уже
 сии оракульские блюда,
 одновременно, обоюдно
 мы выплывем на вираже.

Печаль не знает торжества,
 но есть такая точка грусти,
 когда и по кофейной гуще
 гадать — не надо мастерства.

РЫБА

Нам кажется: в воде он вырыт, как траншея.
 Всплывая, над собой он выпятит волну.
 Сознание и плоть сжимаются теснее.
 Он весь, как черный ход из спальни на Луну.

А руку окунешь — в подводных переулках
 с тобой заговорят, гадая по руке.
 Царь-рыба на песке барахтается гулко
 и стынет, словно ключ в густеющем замке.



ФОТО П

На животе болтаясь, кошой сугроб,
 моток сияния с липким стрекалом —
 Фотоаппарат
 улавливает, как гроб
 с дном зеркальным.

СЛАВЯНОГОРСК

Это маковый сон — состязание крови с покоем
меловым, как сирена. И чудится: ртутный атлас
облегает до глянца пространство земли волевое,
где вершится распад, согревающий небо и нас.

Там катается солнце — сей круг, подавившийся кругом,
металлический крот, научившийся верить теням,
и трещит его плоть, и визжит искрородно под плутом,
и возносится вверх, грохоча по дубовым корням.

Дважды шлях был повторен и время повторено дважды.
Как цепные мосты, повисая один над другим,
шли колонны солдат, дребезжали оружием миражным,
кто винтовской, кто шпагой, кто новеньким луком тугим.

Пробирались туда, где скалистый обугленный тигель
гасит весом своим от равнин подступающий зной.
Здесь трудились они, здесь они на секунду воздвигли
неприступный чертог — саблезубый собор навесной.

ЛИМАН

По колено в грязи мы веками бредем без оглядки,
и есует эта хлябь, и живут ее мертвые хватки.

Здесь черты не провести, и потешны мешочные гонки.
Словно трубы Господни, ~~иши~~ размножены жижей воронки.

Как и прежде, мой ангел, интимен твой сумрачный шелест,
как и прежде я буду носить тебе шкуры и вереск,

только все это — блажь, и накручено долгим лиманом,
по утрам — золотым, по ночам — как свирель, деревянным.

Пышут бархатным током стрекозы и хрупкие прутья,
на земле и на небе не путь, а одно перепутье.

В этой дохлой воде, что колышется, словно носилки,
не найти ни креста, ни моста, ни звезды, ни развилки.

Только камень, похожий на ~~ши~~ тучку, и оба похожи
на любую из точек вселенной, известной до дрожи.

Только вывих тяжелой, как спущенный мяч, панорамы,
только яма в земле или просто — отсутствие ямы.

ЧАС

Я прекращен. Я — медь и мель.
В чуланах Солнечной системы
висит с пробоинами в шлеме
моя казенная модель.

Я знал шпш старение гвоздей.
На стенке противоположной
висит распятое не новей,
чем страх упасть. И это — ложно.

Что ожидает Капернаум,
что ожидает всякий город,
зачем и ты лицом развернут
в мою крошащуюся заумь?

Дитя песка, я жил ползком,
и пару глянцевого черешен
катал по небу языком.
Землей их вкус уравновешен.

Кукушки, музыка, — часам
всегда даровано соседство.
Три форкиады по бокам,
а я — их зрячее наследство.

Как выпуклы мои пружины!
Вослед за криком петушиным
сестрицы кончили с собой.
Пустые залы. День второй.

х х х

От зарешетченных палат,
халатом окрыляя плечи,
ведут больную в скорбный сад
и аккуратным снегом лечат.

Сопровождающая свита
ее оставит у церквушки;
в поклоне хлопнутся с плиты
четыре колбочки с верхушки.

С ажиотажем голубиным,
освобожденные от фресок,
заселят ангелы руины,
седлая стекла и железо.

И друг у друга сторожат,
как ждут кивок флажка на старте,
настойный и тесный взгляд.
на очной ставке.

И темень выпала в осадок,
и становились черней
розовощекие десантники,
пока обуглились в чертей.

К больной сбегаются врачи,
ныряет в кожу шприц, и снова
они ее не могут отличить
от сада, воздуха, покрова.

х х х

Как бережно отпаривают марку,
снимается с Днепра бумажный лед.
переводной картинкой каждый год
мне кажутся метаморфозы марта.

И как всегда, нисколько не иначе,
церква кристаллизуется из основа
вся первый приз, она в балетной пачке
белилами запачканных лесов.

Магнитная, серьезная вода,
в ней полнота немых книгохранилищ,
в ней провода запущенных удилищ,
и тронного мерцанья правота.

Опять причал колотит молотком
по баржам — по запаянным вселенным,
и звук заходит в воду босиком,
и отплывает брассом постепенно.

П С Н

Ей приставили к уху склерозный обрез,
пусть пеняет она на своих вероломных альфонсов,
пусть она просветлится, и выпрыгнет бес
из ее оболочки сухой, как январское солнце.

Ядовитей бурьяна ворочался мех,
брех ночных королей на морозе казался кирпичным,
и собачий чехол опускался на снег
в этом мире двоичном.

В этом мире двоичном чудесен собачий набег.
Шевелись, кореша, побежим разгружать гастрономы!
И ветрина трещит, и кричит человек,
и каидается стая в проломы.

И скорей, чем в воде бы намек рафинад,
расширяется тьма, и ватаги
между безднами ветер мостит и скрипят,
разгибая крыла для отваги.

Разматывается кровь, и у крови на злом поводе
мчатся бурные тени вдоль складов,
в этом райском саду без суда и к стыду
блещут голые рыбы прикладов.

После залпа она распахнулась, как черный подвал.
Ее мышцы мигали, как вспышки бензиновых мышек.
И за ребра идючок поддевал,
И тащил ее в кучу таких же блаженных и рыжих.

Будет в масть тебе, сука, завидный исход!
И в звезду ее ярость вживили.
Пусть пугает и ловит она небосвод,
одичавший от боли и пыли.

Пусть дурачась грызет эту грубую ось,
на которой друг с другом срастались
и Земля и Луна, как бирцовая когти,
и, гремя, по вселенной катались!

х х х

Статичны натюрморты побережья:
трофеи солнца и мясная лавка,
где вас вода ошиплет и разрежет,
чтоб разграничить голову и плавки.

Засовы ящериц замкнут на валунах
безмолвие. Оно застрянет комом.
Висит, модели атома верна,
сферическая дрема насекомых.

Соборное вместилище лесов.
Высоковольтный дуб на совести заката.
И глупая лоза. И куклы сов.
И польских камышей. И зависть музыканта.

х х х

Поля пружинят, как батуты,
и отражают вверх стрижей,
деревья стряхивают фрукты
точь-вточь на кончики ножей.

Гром панорамный, гром наскальный
тренировался до темна,
как в окнах школы музыкальной
вразбивку щупают тона.

Под первым небом навесным
спим в двух шагах и юной церкви,
она, как яхта, сходит с верфи,
с благословением своим...

х х х

Еще до взрыва вес, как водоем,
был заражен беспамятством, и тело
рубахами менялось с муравьем,
сбиваясь с муравьиного предела.

Еще до взрыва — свечи сожжены,
и в полплеча развернуто пространство;
там не было спины, как у Луны,
лишь на губах собачье постоянство.

Еще: до взрыва не было примет
иных, чем суховей, иных, чем тихо.
Он так прощен, что пропускает свет
и в кулаке горячая гречиха.

Зернился зной над рельсом и сверкал,
клубились сосны в быстром оперенье.
Я загляделся в тридевять зеркал.
Несовпадение лиц и совпадение.

Была за поцелуем пустота.
За раздвоеньем — мельтешенье ножниц.
Дай бог, чтобы осталась пустора,
Я вику в том последнюю возможность.

Хоть ты, апостол Петр, отвори
свою заледенелую калитку.
Куда запропастились звонари?
Кто даром небо дергает за нитку?

х х х

Что мне ждать от тебя, городище, лежащий в грязи?
Вертолет, как столовая ложка, по небу колотит.
И останкинский шпиль тошнотворный, как мшистый колодец,
замышляет упасть, и уже его крен на мази.

Разве тридцать серебряных денежек я заплатил
за осиновый мрак, за тенистые доли Аида?
Ровно столько степеней, загадав на орла, запустил
с этой легкой руки, я теперь исчезаю из виду.

Тяжесть в тяге моей. Только тяжесть смежает круги
колокольных твоих восхождений, и походя мнится,
будто сам ты сказал: "Помоги мне, Господь, помоги..."
Вижу пурпурный плащ, пастухов, с пастухами — ослица.

Городище, похожий на тир, здесь сверяют судьбу!
Приютишь ли меня или вкось отшвырнешь рикошетом,
не найдя, что сказать, ничего не теряя при этом.
Ты сидишь по-турецки и яблоко держишь на лбу!